

Данилов считался другом семьи Муравлевых. Он и был им. Он и теперь остается другом семьи. В Москве каждая культурная семья нынче старается иметь своего друга. О том, что он демон, кроме меня, никто не знает. Я и сам узнал об этом не слишком давно, хотя, пожалуй, и раньше обращал внимание на некоторые странности Данилова. Но это так, между прочим.

Теперь Данилов бывает у Муравлевых не часто. А прежде по воскресеньям, если у него не было дневного спектакля, Данилов обедал у Муравлевых. Приходил он с инструментом, имел для этого причины. Вот сейчас я закрою глаза и вспомню одно из таких воскресений.

...В квартире Муравлевых с утра происходят хлопоты, там вкусно пахнет, в кастрюле ждет своего часа мелко порубленная баранина, купленная на рынке, молодая стручковая фасоль вываливается из стеклянных банок на политые маслом сковороды, и кофеварка возникает на французской клеенке кухонного стола. Ах, какие ароматы заполняют квартиру! А какие ароматы ожидаются! В этот день никакой иной гость Муравлевым не нужен. В особенности Кудасов с женой. Но Кудасов чаще всего и приходит.

На обеды, выпивки и чаепития у Кудасова особый нюх. Стоит ему повести ноздрей — и уж он сразу знает, у кого из его знакомых какие куплены продукты и напитки и к какому часу их выставят на стол. Еще и скатерть не достали из платяного шкафа, а Кудасов уже едет на запах трамвая. Иногда он и ноздрей не ведет, а просто в душе его или в желудке звучит вещий голос и тихо так,

словно печальная тень Жизели, зовет куда-то. Чувствует Кудасов и то, как нынче будут кормить и поить гостей, и если будут кормить скудно и невкусно, без перца, без пастилы к чаю или без ветчины от Елисеева, то он никуда и не едет. Но насчет обедов для Данилова, да и ужинов и завтраков, тоже у него никаких сомнений нет. Тут все по высшему классу! Тут как бы не опоздать и не дать угощениям остынуть. Тут своему нюху и вещему голосу Кудасов не доверяет, мало ли какие с теми могут случиться оплошности. Он с утра смотрит в афишу театра и догадывается, играет сегодня Данилов на своем альте или не играет. Весь репертуар Данилова ему известен. Обязательно Кудасов звонит и в театр: «Не отменен ли нынче спектакль?» Кудасов знает, что Данилова будут кормить у Муравлевых и в связи с отменой спектакля.

Кудасов и сам не бедный, он лектор, а вот тянет его кушать на люди. При этом он так устает от слов на службе, что за столом становится совершенно безвредным — молчит и молчит, только жует и глотает, лишь иногда кое-что уточняет, чтобы чья-нибудь шальная мысль не забежала сгоряча слишком далеко и уж ни в коем случае не свернула за угол. Молчит и его жена, но она неприятно чавкает.

Ни Данилову, ни в особенности Муравлевым Кудасов не нужен, однако они его терпят. Все же старый знакомый, да и нахальству Кудасова никакие препоны, никакие дипломатические хитроумия, никакие танковые ежи не помеха. Все равно он придет, извинится и сядет за стол. Как лев у Запашного на тумбу. При этом обязательно вручит хозяевам бутылку сухого вина подешевле — совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна радость — съест порции три мясного и тут же за столом засыпает. Ноздрей лишь тихонечко всасывает воздух, а с ним и запахи — как бы чего эдакого, грешным делом, не пропустить. И жена его, деликатная женщина, делает вид, что и она дремлет с открытыми глазами.

А Данилов с Муравлевым потихоньку смакуют угощения.

— Как нынче лобио удалось! — радуется Данилов.

— Ты вот салат этот желтенький попробуй, — спешит в усердии Муравлев, — тут и орехи, и сыр, и майонез.

— Соус провансаль, — поправляет его Данилов, а отведав желтое кушанье, принимается расхваливать хозяйку, как всегда, искренне и шумно.

Хозяйка сидит тут же, краснея от забот, готовая сейчас же идти на кухню, чтобы готовить гостю новые блюда.

И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше, горячий, словно бы живой, рисинка от рисинки в нем отделились, мяса и жира в меру, черными капельками там и сям виднеется барбарис, доставленный из Ташкента, и головки чеснока, сочные и сохранившие аромат, выглядывают из желтоватых россыпей риса. А дух какой! Такой дух, что и в кишлаках под Самаркандом понимающие люди наверняка теперь стоят лицом к Москве.

Кудасов, естественно, приходит в себя и получает миску плова с добавкой. Теперь он может спать совсем или идти еще куда-нибудь в гости, не дожидаясь кофе.

— Ну вот, — говорит Муравлев Данилову, накладывая тому последнюю порцию плова, — а ты два года мучил себя и нас своим вегетарианством!

— Мучил, — соглашается Данилов. И добавляет печально: — А мне их и сейчас жалко... И этого вот барашка... И мать его осталась теперь одна...

— Глупости... Метафизика... — просыпается Кудасов. — Вы, наверное, все семинары по вечерам пропускаете.

— Это вы зря, Валерий Степанович, — тут же грудью встает на защиту Данилова хозяйка. — Напротив, Володя ходит на все семинары!

— А мать-то этого плова, — добавляет Кудасов, — давно уж ушла в колбасу. И нечего о ней жалеть.

— Зачем вы так... — кротко говорит Данилов.

Но приходит время чая и кофе — и все печали тут же рассеиваются. Над чаем и кофе в доме Муравлевых обряд совершает сам Данилов. Чай он готовит и зеленый, и русский, кофейные же зерна берет только с раскаленной арабийской земли, а бразильские надменно презирает, находя в их вкусе излишнее томление и кисло-горький отте-

нок. Каждый чай, по науке Данилова, должен иметь свою степень цвета — и русский, и зеленый, а уж о кофе не приходится и говорить, и Данилов доктором Фаустом из сине-черной оперы Гуно (играл ее в среду, Фауста пел Блинные и в перерыве после второго акта проспорил Данилову в хоккейном пари бутылку коньяка) стоит на кухне над газовой плитой. И вот он молча приносит к столу на жостовских подносах чайники и турки, и гости с хозяевами пьют божественные напитки, кто какой пожелает.

— Ну как? — робко спрашивает Данилов.

— Прекрасно! — говорит Муравлев. — Как всегда!

Потом Данилов с хозяевами сидит в полумраке, вытянув худые длинные ноги в стоптанных домашних тапочках Муравлева, и в блаженной полудреме слушает пластинку Окуджавы, купленную им в Париже на бульваре Сен-Мишель за двадцать семь франков. Или ничего не слушает, а напевает куплеты Бубы Касторского из «Неуловимых мстителей», куплеты эти он ставит чрезвычайно низко, но отвязаться от них не может. Он так и засыпает в кресле, не ответив на реплику Муравлева о строительстве в Набережных Челнах, он очень устает — играет и в театре, и в концертах, он должен платить много денег — за инструмент и за два кооператива. Хозяйка подходит к нему, поправляет подтяжку, съехавшую с острого плеча, укутывает Данилова верблюжьим одеялом, смотрит на него душевным материнским взором, вздыхает и уходит из столовой, не забыв погасить свет...

Но опять скажу: так было. Сейчас Данилов обедает у Муравлевых редко. Раз в месяц. Не чаще...

2

Не бывает теперь Данилов и в собрании домовых. А раньше Данилов после спектаклей иногда приходил в дом с башенкой на Аргуновской улице, где по ночам при ЖЭКе встречались останкинские домовые. Сам Данилов не домовый, но был прикреплен к домовым.

Некоторые домовые были ему приятны. Домовой Велизарий Аркадьевич, смешной старик из особняка в стиле модерн, считающий, что он целиком состоит из высокой духовности, питал к Данилову слабость. Как одинокий жиздринский пенсионер к блестящему столичному племяннику. Когда Велизарий Аркадьевич пребывал в меланхолии, он тихо просил Данилова напеть ему стансы Нилаканты. И Данилов, добрая душа, ему не отказывал. С домовым Федотом Сергеевичем из разрушенных палат семнадцатого века Данилов часто спорил об архитектуре. Федот Сергеевич сердился, когда Данилов защищал Гропиуса и Сааринена, говорил ему: «Ах, бросьте, они скучны и убоги, все их балки и линии не стоят одного нашего коробового свода!» — но потом выходило, что взгляды у спорщиков схожие. Артем Лукич, самый сознательный в доме на Аргуновской и признанный авторитет, хотя и видел в Данилове чужака, однако и он относился к Данилову с уважением.

Спать однужды чуть было не полез скандалить с Даниловым Георгием Николаевичем из двадцать пятого дома. «Да я таких! — шумел он. — Лезут всюду разные!.. С бородами!» Но Георгий Николаевич тут же был вынужден вспомнить, что он домовый, а Данилов не домовый, а только прикреплен к домовым.

Георгий Николаевич вообще оказался дурной личностью. Данилов был на гастролях в Ташкенте, когда домовый Иван Афанасьевич, превратившись в нечто прозрачное и зеленое, с хрустальным звоном взлетел в останкинское небо и был унесен туда, откуда возврата нет. Данилов услышал о случившемся, расстроился. Он любил Ивана Афанасьевича. Данилов и Екатерину Ивановну знал, встречал ее у Муравлевых и не раз танцевал с ней и джайв, и казачок. Он и подумать не мог, что Иван Афанасьевич страдал по Екатерине Ивановне.

Иван Афанасьевич не имел права любить земную женщину. Потому его и не стало. Но все бы и обошлось, если бы не Георгий Николаевич. Тот в судьбе Ивана Афанасьевича сыграл мерзкую роль. Георгию Николаевичу

бы после всего голову в плечи вжать и где-нибудь у себя в доме отсиживаться в телефонной трубке между углем и мембраной или сухим листиком съежиться на зиму в гербарии третьеклассника, а он по-прежнему ходил в собрание домовых и держал себя чуть ли не героем. Мол, что я сделал, то и сделал, и мне еще за это спасибо скажут, а ваша собачья забота меня уважать и пить со мной виски. И с ним пили виски — молчали, а пили. «Скотина! — думали. — Была бы наша воля, мы бы тебя...» — но пили, полагая, что ведь действительно Георгию Николаевичу спасибо скажут. А может быть, уже и сказали. Тихо стало на Аргуновской. Зябко даже. Словно озноб какой нервный со всеми сделался. Или будто грустный удушенник начал к ним ходить.

И вот вернулся с ташкентских гастролей Данилов. Давно не был у домовых. Решил зайти. Дыни бухарские привез и шкуры каракумских варанов, сначала высушенные, а потом замоченные в соке гюрзы. Домовые брали угощения, а жевали их, и не только влажные ломтики дынь, но и каракумские деликатесы, вяло, словно бы из вежливости. Не было ни у кого аппетита. Один Георгий Николаевич проглатывал все шумно и со слюной. Рассказали Данилову, в чем дело. Через день Данилов явился в собрание прямо со спектакля «Корсар», в утюженном фраке с бабочкой и с черным чемоданчиком. Он и всегда был красив, а тут выглядел прямо как молодой Билибин с картины Кустодиева. С застенчивой своей улыбкой и чуть ли не торжественно стал он со всеми здороваться, а когда Георгий Николаевич протянул ему руку, Данилов свою руку отвел. Все так и замерли.

— Вы что, мной брезгуете, что ли? — спросил Георгий Николаевич с вызовом.

— Нет, — сказал Данилов. — Просто я соблюдаю правила гигиены.

— Что же, я заразный?

— Да, — сказал Данилов. — Вы заразный.

— Я больной, что ли? — растерялся Георгий Николаевич.

— Вы больной, — сказал Данилов. — Вы больны гриппом. К тому же вы перенесли на ногах холеру восьмьсот сорок четвертого года. А бактерии ее, как известно, десятилетиями могут жить даже во льду. Ну холера ладно, оставим ее. А вот грипп в этом году дает тяжелые осложнения.

Тут Данилов открыл чемоданчик, достал оттуда свежую марлевую повязку и не спеша в тишине завязал на затылке шелковые тесемки. Повязка накрахмаленной паранджой закрыла ему нос, рот и бороду, но и в ней он остался красив. Домовые, незаметно отодвинувшиеся от Георгия Николаевича, бросились теперь к Данилову, и каждого из них Данилов оделил марлевой повязкой.

— А мне? — жалостливо попросил Георгий Николаевич.

— А вам не надо, — сказал Данилов.

Георгий Николаевич опустил на стул и заплакал.

— Что же вы плачете? — сказал Данилов. — Вам лечиться надо.

— У меня друг погиб... растворился там, — Георгий Николаевич пальцем вверх указал, — мне тяжело, а вы надо мной издеваетесь...

— Какой, простите, друг?

— Ваня... Иван Афанасьевич... Мы с ним юность вместе провели на Третьей Мещанской за церковью Филиппа Митрополита... Мы в жмурки вместе играли... Он под конец жил неправильно... Я ему правду в глаза говорил... И все равно он мне был другом. А вы надо мной издеваетесь... Стыдно вам потом будет...

— Полно, Георгий Николаевич, — сказал Данилов. — Не были вы другом Ивану Афанасьевичу. Оттого его нет, что вы никому другом быть не можете.

Тут Георгий Николаевич вскочил, со злыми, сухими уже глазами бросился к Данилову, ручищами своими схватил Данилова за суконные отвороты фрака и дернул их так, что нитка, хоть и была от хорошего портного, все равно затрещала, а в иных местах и поехала.

— Выдал! Выдал себя! — кричал Георгий Николаевич. — Из-за него, из-за слюнтя этого весь спектакль

затеял! Ничего ты мне не сделаешь! Я — правильный домовой! Я и тебя за сегодняшнюю вольность скручу в бараний рог!

— Уберите руки, — сказал Данилов, и Георгий Николаевич отлетел мгновенно к стене напротив, опрокинув при этом стол для бриджа.

— Я на тебя управу найду! — все еще кричал Георгий Николаевич. — Раз ты к нам, к мелким тварям, ходишь, значит ты из демонов разжалованный! Наказали тебя, и я уж знаю за что!

Не был Данилов способен на мелкую месть, а тут взволновался, не смог сдержаться, и Георгий Николаевич сейчас же, прямо у стены, заболел австралийским гриппом. Он начал чихать, температура в Георгии Николаевиче подскочила до предельной черты, брожение делалось в крови и во всякой прочей жизненной жидкости, газообразные вещества стали оседать в нем голубыми кристаллами, а из носа потекло.

Еле нашел в себе силы Георгий Николаевич удалиться из общества в спасительную конуру, обернулся на пороге и прошептал:

— Это тебе дорого обойдется...

Данилов тихонько развязал тесемки на затылке, сложил повязку аккуратно и торжественно, словно японские офицеры в присутствии императора флаг на закрытии зимних Игр в Саппоро, и убрал ее в чемодан. И все домовые снимали повязки. Один Велизарий Аркадьевич, стесняясь, сказал, что хотел бы поносить материю еще неделю.

Не то чтобы все повеселели, а как-то просветлели, словно путы какие скинули с затекших рук. Подходили поодиночке к Данилову, говорили шепотом: «Спасибо вам... Вам-то можно было его оконфузить...» Шалопаи из блочных домов на электрогитарах заиграли композиции Маккартни и Леннона. И скоро в разговорах стало выясняться, что если бы сегодняшнее не произошло, то через день, через два Георгия Николаевича из собрания бы непременно выгнали. Шалопаи говорили, что они

этого консерватора Георгия Николаевича рассчитывали завтра же отправить в плавание по системе канализации двадцать пятого дома. Жизнерадостный нахал Василий Михайлович, тот прямо заявил: «Я-то чуть-чуть замешкался, а то уж сейчас же бы, через две минуты, этого неверного друга под зад бы коленом! Сменную обувь бы на месяц послал его протирать в соседнюю школу!» Артем Лукич и даже Константин Игнатьевич с Таганки, домовой в собрании случайный, но как бы и свой, смотрели на Данилова дружелюбно, словно он с них кружевной перчаткой, как клопа, снял ответственность.

Сам же Данилов был опечален оттого, что взволновался и не смог сдержать себя. И само по себе это было нехорошо, но главное — даже мелкий жест его должен был принести теперь беды ни в чем не повинным существам, а приостановить что-либо Данилов был уже не в силах. С ним это случилось. Не так давно Муравлевы отправились на выходные дни в Планерскую, в хороший дом отдыха. Но в Планерской Муравлеву не понравилось, он ругал жену, заманившую его за город редкими путевками, ругал местную кухню, а ночью, почувствовав сердечным боком пружину матраца, пробормотал в полудреме: «Чтоб он сгорел, этот дом отдыха!» Данилов находился далеко, но он был вольный сын эфира и принимал любую звуковую и душевную волну. И слова Муравлева тотчас дошли до него мольбой приятеля освободить его от незаслуженных мук. Подумать Данилов ни о чем не успел, но от одного лишь его сострадания Муравлеву флигель в Планерской вспыхнул. Муравлев в ужасе спасал припасенную на завтра бутылку «Экстры», сын его Миша дрожал, прижав к груди казенные лыжи, а жена Тамара мужественно швыряла в чемоданы семейные вещи и припасы. Всю ночь погорельцы провели на снегу, теперь Муравлев ругал не только жену, но и пьяных электриков, работавших днем на чердаке флигеля. Данилов страдал, но флигель восстановить уже не мог.

Вот и теперь он не ждал добра. И точно, австралийский вирус, возникший в Георгии Николаевиче, ока-

зался таким сильным, что весь двадцать пятый дом завтра заболел. И гипсовая Грета в Останкинском парке, девушка с лещом под мышкой, предмет тайной страсти Георгия Николаевича, стала чихать, распугивая публику, да так, что в шашлычной напротив шампуров подпрыгивали в электромангалах и гнулись. Домовые в собрание на Аргуновскую приходили уже в повязках и смазав носы пироксилиновой мазью, усиленной порохом. Велизарий же Аркадьевич, по мнительности и начитавшись газет, решил месяца на два под видом степной черепахи впасть в спячку и переждать эпидемию.

Данилов опять страдал и не знал, что делать. К Муравлевым после пожара в Планерской он стыдился заходить, а они ни о чем и не подозревали. Звали его, но он отказывался, находил причины. Думал: «Нет, все! Это в последний раз! Неужели я не умею властвовать собой? Ну осадил бы Георгия Николаевича, а зачем устраивать чих и кашель!» Он даже подбросил ценные пилюли Георгию Николаевичу, какие могли помешать австралийскому вирусу. А это было противу правил. Но и когда грипп стих, Данилов не успокоился.

И тут в собрании на Аргуновской появился новый домовой, присланный в двадцать первый дом на пустовавшее три месяца после улета Ивана Афанасьевича место.

3

Звали его Валентин Сергеевич, он носил пенсне на платиновой цепочке, в разговоре, удивляясь каким-либо словам собеседника — например, о том, что рыба протоперус, выйдя из аквариума, может зарезать среднюю кошку, — откидывал голову назад и произносил пронзительно: «Це! Це! Це! Це!» В звуках этих действительно было удивление, но имелось и еще нечто, что пугало или, по крайней мере, настораживало. Шалопайи, получавшие телевизионное образование, поначалу из-за пенсне прозвали его меньшевиком, но потом отчего-то стали попридер-

живать язык. Старожилы Валентину Сергеевичу указывали на то, что приходить в собрание должно в клубном кафтане, а не в немодной куртке, но Валентин Сергеевич будто бы этих слов не слышал, и разговоры про его куртку затихли.

Валентин Сергеевич оказался егозой. Мелким скоком он перебегал от одной компании к другой, играя в карты или шашки, все время ерзал и смущал противника напористым своим «Це! Це! Це! Це!». Да и вообще садиться с ним за стол или за доску выходило делом скверным, все он выигрывал. История жизни Валентина Сергеевича останкинским старожилам была неизвестна, выяснили только из личного дела, что новичок раньше служил где-то возле Колхозной площади. А там был дом Брюса. Генерал-фельдмаршал Петра Великого Брюс Яков Вилимович числился же, как известно, чернокнижником и алхимиком, у него и в июльскую жару гости катались на коньках, а запахи и флюиды от Брюсовых тиглей и посуды могли протушить на долгие века ближайшие к его дому кварталы. Как бы и от Валентина Сергеевича не пришлось увидеть странностей. А вдруг чего и похуже. Может, и цепочка-то к пенсне досталась Валентину Сергеевичу от тех алхимий. Призадумались на Аргуновской умные головы. Неспроста, решили, появился Валентин Сергеевич в их мирном собрании.

Данилов долго не ходил в собрание домовых, ему хватало людских забот. Но однажды зашел и сразу почувствовал, что между ним и Валентином Сергеевичем возникла некая связь. «А ведь он имеет что-то ко мне», — сказал себе Данилов. Он не подходил к Валентину Сергеевичу, полагая, что тот сам не выдержит и обнаружит себя. Но Валентин Сергеевич, видно, был натурой терпеливой и волевой, а может, и не сам он управлял своими поступками. Он вертелся, скакал невдалеке от Данилова, но к Данилову будто бы приблизиться не смел, как титулярный советник к генеральской дочери. Однако в его взгляде Данилов иногда замечал и уверенность в себе,

и чуть ли не сознание превосходства. «Экий гусь!» — думал Данилов. Теперь он уже считал, что Георгию Николаевичу указал на дверь не зря. Теперь, пожалуй, Данилов был сердит, и не то чтобы азарт, а некое будоражащее душу ожидание приключения поселилось в нем.

Наконец Валентин Сергеевич подошел к нему, предложил сыграть в шахматы. «А то меня почему-то все стали побаиваться...» — сказал он, как бы смущаясь. Данилов сел с ним за стол и скоро понял, что игрок Валентин Сергеевич сильный. Данилов даже засомневался: играть ли ему против Валентина Сергеевича в силу домового или взять разрядом выше. И все же он решил играть в силу домового, посчитав, что иначе они с Валентином Сергеевичем будут не на равных. Но ходов через десять Данилов понял, что Валентин Сергеевич может выступать и лигой выше. Данилов поднял голову и посмотрел на соперника внимательно. Стеклышки пенсне Валентина Сергеевича излучали удивительный зеленоватый свет, отчего в голове у Данилова начиналось выпадение мыслей. «Ах вот ты как! — подумал он. — Да тебе эдак против Фишера играть... А я вот против твоих световых фокусов включу контрсистему...» Он включил контрсистему и двинул белопольного слона вперед.

Раздался электрический треск. Валентин Сергеевич запрыгал на стуле, ладонями застучал по краю стола, и Данилов понял, что поставит мат ястребу останкинских шахматных досок на тридцать шестом ходу.

— Здесь принято играть в силу домовых, — сказал Данилов. — Нарушение вами правил может быть превратно истолковано.

— Вы... вы! — нервно заговорил Валентин Сергеевич. — Вы только и можете играть в шахматы и на альте. Да и то оттого, что купили за три тысячи хороший инструмент Альбани. С плохим инструментом вас бы из театра-то выгнали!.. А на виоли д'амур хотите играть, да у вас не выходит!..

Данилов улыбнулся. Все-таки вывел Валентина Сергеевича из себя. Но тут же и нахмурился. Какая наглость

со стороны Валентина Сергеевича хоть бы и мизинцем касаться запретных для него людских дел!

— Что вы понимаете в виоли д'амур! — сказал Данилов. — И не можете вы говорить о том, чего вы не знаете и о чем не имеете права говорить.

— Значит, имею! — взвизгнул Валентин Сергеевич.

Он тут же обернулся, но домовые давно уже забились в углы невеселой нынче залы, давая понять, что они и знать не знают о беседе Данилова и Валентина Сергеевича.

— Вы нервничаете, — сказал Данилов. — Так вы получите мат раньше, чем заслуживаете по игре.

Он и сам сидел злой. «Стало быть, только из-за хорошего инструмента меня и держат при музыке, — думал, — и виоль д'амур, стало быть, меня не слушается, ах ты, негодяй!» Но на вид был спокойный.

— Значит, вы сочувствующий Георгию Николаевичу, — сказал Данилов, забирая белую пешку.

— Не угадали, Владимир Алексеевич! — рассмеялся Валентин Сергеевич. — Известно, что вы легкомысленный, но уж тут-то могли бы понять... Что нам с вами Георгий Николаевич? Он правильный домовый. Но он мелочь, так, тьфу! Заболел, ну и пусть болеет. Из-за другого к вам интерес! Если это можно назвать интересом...

— А вы-то что суетитесь?

— Я давно о вас слышал. Раздражаете вы меня. Мучаете. Невысокий вы рангом, да и незаконный родом, а позволяете себе такое... Я о вас слушал и чуть ли не плакал. «Да и есть ли порядок?» — думал.

— Ну и как, есть?

— Есть, Владимир Алексеевич, есть! Вот он!

И тут Валентин Сергеевич чуть ли не к лицу Данилова поднес руку, разжал пальцы, и на его ладони Данилов увидел прямоугольник лаковой бумаги, похожий на визитную карточку, с маленькими, но красивыми словами, отпечатанными типографским способом. Прямоугольник был повесткой, и Данилов ее взял.

— Прямо как пираты, — сказал Данилов. — Еще бы нарисовали череп с костями, и была бы черная метка.

— Не в последний ли раз вы смеетесь?

— А вы что, карателем, что ли, сюда прибыли?

— Нет, — словно бы испугавшись чего-то, быстро сказал Валентин Сергеевич. — Я — курьер.

— Вот и знайте свое место, — сказал Данилов.

— Какой вы высокомерный! — снова взвизгнул Валентин Сергеевич. — Я личность, может, и маленькая, но я при исполнении служебных обязанностей, да и вам ли нынче кому-либо дерзить! Вам ведь назначено время «Ч»!

Багровыми знаками проступило на лаковом прямоугольнике объявление времени «Ч», и Данилову, как он ни храбрился, стало не по себе. «Но, наверное, это не сегодня, и не завтра, и даже не через месяц!» — успокаивал он себя, глядя на повестку. Однако не было в нем уже прежней беспечности.

— Ваш ход, — сказал Валентин Сергеевич.

— Да, да, — спохватился Данилов.

Он поглядел на доску и увидел, что у Валентина Сергеевича слева появилась ладья, какую он, Данилов, семью ходами раньше взял. Он взглянул на записи ходов и там обнаружил собственным его почерком сделанную запись хода, совершенно не имевшего места в действительности, но оставлявшего ладью белых на доске. Данилов забыл о повестке, стерпеть такое жульничество он не мог! Испепелить он готов был этого ловкача, осмелевшего от служебной удачи! Но тут Данилов на мгновение вспомнил о пожаре в «Планерской» и эпидемии гриппа, подумал, что Валентин Сергеевич, может быть, нарочно вызывает его на скандал, и употребил по отношению к чувствам власть. Не то вдоль Аргуновской улицы тянулись бы теперь черные и пустые места с обугленными пнями. Лукавая мысль явилась к Данилову. «А дай-ка я ему еще и слона отдам, просто так, — решил он, — а там посмотрим...» Валентин Сергеевич схватил с жадностью подставленного ему слона, как троллейбусная касса мед-

ную монету. Но тут же он спохватился, поглядел на Данилова растерянно и жалко, захлопал ресницами, крашенными фосфорическими смесями:

— Вы совсем меня не боитесь, да? Вы меня презираете? Зачем вы опять мучаете-то меня?!

«Что это он? — удивился Данилов. — Нет у меня никакой плодотворной эндшпильной идеи, слона я отдаю ни за что».

— Не выигрывайте у меня! — взмолился Валентин Сергеевич. — Не губите, батюшка! Я ведь вернуться не смогу! Я на колени перед вами встану! Помилуйте сироту!

Данилову стало жалко Валентина Сергеевича. Он сказал:

— Ну хорошо. Принимаю ваше предложение ничьей!

— Батюшка! Благодетель! — бросился к нему Валентин Сергеевич, руки хотел целовать, но Данилов, поморщившись безглаголиво, отступил назад.

Валентин Сергеевич выпрямился, отлетел вдруг в центр залы, захохотал жутким концертным басом, перстом, словно платиновым, нацелился в худую грудь Данилова и прогремел ужасно, раскалывая пивные кружки, запертые на ночь в соседнем заведении на улице Королева:

— Жди своего часа!

Он превратился в нечто дымное и огненное, с треском врезавшееся в стену, и исчез, опять оставив двадцать первый дом без присмотра. Домовые еще долго терли глаза, видно, натура Валентина Сергеевича при переходе из одного физического состояния в другое испускала слезоточивый газ.

«Ну и вкус у него! — думал Данилов, глядя на опаленные обои. — И чего он так испугался жертвы слона? Странно... А ведь бас-то этот кажется мне знакомым...»

Он опять ощутил на ладони лаковый прямоугольник повестки. И опять проступили багровые знаки. «Скверная история», — вздохнул Данилов. Хуже и придумать было нельзя...

Данилов набрал высоту, отстегнул ремни и закурил.

Курил он в редких случаях. Нынешний случай был самый редкий.

Под ним, подчиняясь вращению Земли, плыло Останкино, и серая башня, похожая на шампур с тремя ломтиками шашлыка, утончаясь от напряжения, тянулась к Данилову.

Данилов лежал в воздушных струях, как в гамаке, положив ногу на ногу и закинув за голову руки. Ни о чем не хотел он теперь думать, просто курил, закрыв глаза, и ждал, когда с северо-запада, со свинцовых небес Лапландии, подойдет к нему тяжелая снежная туча.

В Москве было тепло, мальчишки липкими снежками выводили из себя барышень-ровесниц, переросших их на голову, колеса трамваев выбрызгивали из стальных желобов бурую воду, крики протеста звучали вослед нахалам-таксистам, обдававшим мокрой грязью публику из очередей за галстуками и зеленым горошком. Однако, по предположениям Темиртауской метеостанции в Горной Шории, именно сегодня над Москвой теплые потоки воздуха должны были столкнуться с потоками студенными. Не исключалась при этом и возможность зимней грозы. Данилов потому и облюбовал Останкино, что оно испокон веков было самым грозным местом в Москве, а теперь еще и обзавелось башней, полюбившейся молниям. Он знал, что и сегодня столкновение стихий произойдет над Останкином. От нетерпения Данилов чуть было не притянул к себе лапландскую тучу, но сдержал себя и оставил тучу в покое.

Она текла к нему своим ходом. И тут Данилов ощутил некий сигнал. Сигнал был слабый, вялый какой-то, не было в нем ни просьбы, ни вызова неземных сил. Однако Данилов заволновался, посмотрел вниз и определил, что сигнал исходит от тридцатилетнего мужчины в нутриевой шапке, стоявшего у входа в Останкинский парк подле палатки «Пончики». Мужчина был виден пло-

хо, Данилов включил изображение, осмотрел мужчину и заглянул ему в душу. Оказалось, что мужчина этот, только что выпивший стакан кофе и съевший горячий, мнущийся пончик, приехал сюда троллейбусом из больницы и должен был теперь пересесть на трамвай. В больницу же его вызвали утром неожиданно и сказали, что отец его находится на грани жизни и смерти, спасти его может только операция, и то если ее делать теперь же, а не через час. В полубреду больной от операции отказывался, и сын его написал расписку, разрешая операцию, с таким чувством, словно сам сочинял отцу смертный приговор. Потом он сидел три часа внизу и ждал. Операция прошла удачно, но жизнь отца все еще оставалась в опасности. Мужчине и раньше было нехорошо, а теперь, когда напряжение спало, его била нервная дрожь и тошнило. Тогда он подумал: «Сейчас бы стакан водки — и все!» Мысль эту Данилов понял.

Данилов опять посмотрел на тучу и покачал головой. Туча еле ползла. Данилов вздохнул и спустился на скользкий асфальт. К мужчине в нутриевой шапке он решился подойти не сразу. Данилов и всегда с неким волнением знакомился с новыми людьми, а этот мужчина был интеллигентного вида и тихий, учитель географии по профессии, и неизвестно еще, как он мог отнестись к появлению Данилова.

— Холодно, — сказал Данилов, улыбаясь от смущения.

— Да, зябко, — кивнул мужчина.

Помолчали.

— Не кажется ли вам, — сказал Данилов, — что вон те новые дома на Аргуновской совершенно не гармонируют ни с башней, ни тем более с Шереметевским дворцом?

Мужчина удивленно поглядел на Данилова, поглядел на дома и сказал:

— Это еще не самые худшие дома...

— Не уверен, — сказал Данилов и, помолчав опять, начал скороговоркой, робея и от робости заикаясь: — Вы

меня извините, у меня к вам нижайшая просьба, вы можете послать меня куда угодно, но выслушайте сначала меня... У меня тяжело на душе... Мне сейчас выпить надо... А один я не могу. Не могли бы вы составить мне компанию?

— То есть как? — растерялся мужчина.

— У меня все есть, — сказал Данилов. И достал из кармана пальто начатую бутылку водки и стакан. — Вы, если не желаете, хоть только постоите рядом со мной...

— Ну что ж, — неуверенно сказал мужчина, — если вам нужно, чтобы я постоял...

— Вот и спасибо! — обрадовался Данилов. — Только давайте отойдем отсюда вон за тот забор. А то, не ровен час, милиция или женщины-дружинницы. И по десятке сразу возьмут, и письма отправят на работу.

Они зашли за коричневый забор бывшего рынка и встали возле мусорной ямы. Данилов предпочел бы сейчас достать из пальто бутылку бургундского, или коньяка, или зелено-лукового шартреза из монастырских подвалов Гренобля, водку он пить не хотел, тем более возле мусорной ямы, но что ему оставалось делать! Выпив свою долю, Данилов наполнил стакан, бросил бутылку и протянул стакан мужчине:

— Вот, пожалуйста, примите... Я больше не могу... Но не пропадать же добру!..

— Нет, нет, нет! Что вы! — заговорил мужчина, однако стакан взял и водку одним махом выпил.

Данилов протянул ему яблоко закусить и, заметив, как тот провожал взглядом стакан, сказал:

— А больше стакана вы и не хотели.

— Что? — как бы очнулся мужчина и поглядел на Данилова испуганно.

— Нет-нет, это я так, — быстро сказал Данилов.

Тут Данилов почувствовал, что самая пора им расстаться, мужчина сейчас мог пуститься в откровения, и в этом ничего плохого не было бы, но завтра мужчина этот сам стал бы каяться и казнить себя за то, что открыл душу первому встречному и пил с ним водку, хорошо хоть

еще документы не показывал и не давал своего телефона. Данилов решительно извинился перед женщиной, сказал, что опаздывает, и быстро пошел в сторону парка. Зайдя за пустой рыночный павильон, он взлетел в останкинское небо и опять, расслабив тело, разлегся в воздушных струях в ожидании тучи.

Теперь он был спокойнее и даже стал насвистывать мелодию из «Хорошо темперированного клавира» Баха. Туча проплывала уже над Клином и домиком Петра Ильича и через час должна была достигнуть московских застав. Терпеть больше Данилов не мог, он не любил вынужденного безделья, да и сладость предстоящих удовольствий манила его. Он сорвался с места и полетел из теплых струй навстречу туче. Над станцией Крюково он врезался в темную, влажную массу и, разгребая руками лондонские туманы нижнего яруса тучи, стал подниматься на самый верх ее, к взблескивающим ледяным кристаллам. Там он вытянулся и начал сам преобразовываться в ледяные кристаллы, принимая их же положительный заряд. Ему и теперь было хорошо, он не торопил тучу, а она упрямо теснила теплый фронт воздуха, намереваясь дать в небе над Останкином генеральное сражение.

Минут через двадцать они уже были над Останкином. Тут и началось! Все в туче пришло в движение, задрожало, занервничало, забурлило, сила лихая ощутила в себе способность к взрыву. Где-то внизу холодный воздух уже столкнулся с теплым, и вот наконец движение дошло до льдистого покрывала тучи, а стало быть, и до Данилова, и он вместе с другими кристаллами льда ринулся вниз, чтобы там, внизу, превратиться в водяные пары. Ринулся без оглядки, отчаянно, теряя в загульном падении ионы и приобретая отрицательный заряд. «Хорошо-то как! — думал Данилов, ощущая в себе пронзительную свежесть нового заряда. — Ах как хорошо!» Но он помнил, что это только начало.

И тут он не удержался, а, махнув на все рукой, позволил себе созорничать — противу правил оделил себя

еще и положительным зарядом, и теперь два заряда жили в нем, никак, по воле Данилова, друг с другом не взаимодействуя, и Данилов в суеде электрического движения неся, блаженствуя, но и рискуя потерять навсегда душевные свойства.

А свободные электроны уже стекали из тучи со скоростью сто пятьдесят километров в секунду на землю, пробивая в воздухе канал для молнии и для Данилова. Данилов почувствовал, что рисковать хватит, и испустил из себя положительный заряд. Как только канал для молнии был пробит, туча совсем задрожала. Крутую и гладкой дорогой, открытой теперь для движения, отрицательные заряды полетели вниз со скоростью в десятки тысяч километров в секунду, и Данилов вместе с ними понесся к земле на самом острие молнии, завывал, гремел от восторга. И с голубыми искрами ухнул, врезался в стальную иглу громоотвода Останкинского дворца. Но не ушел в землю, не нейтрализовался и не исчез, а, оттолкнувшись от иглы, словно бы отброшенный ею, с артиллерийским грохотом взвился в небо, да так бурно, что сразу же был бы неизвестно где, если бы не обуздал себя, не опрокинул обратно в тучу. Данилов и теперь мог лететь, куда собрался, но он знал, что в туче есть еще силы на два или три разряда, и он не смог отказать себе в удовольствии еще три раза искупаться в молнии. И вот он опять и опять падал с молнией на землю, кувыркаясь и расплескивая искры. А однажды, в безрассудстве упоения бурей, ради гибельных и сладких ощущений, нейтрализовался на миг и все же успел вернуться в свою сущность. Дважды опять он попадал в стальную иглу, а в третий раз, увлекшись, промазал и расщепил старый парковый дуб возле катальной горки. Тут и опомнился.

«Хватит! — сказал себе Данилов. — Все. Надо остановиться. Дубу-то зачем страдать...» И отскочил в небо, оставив внизу выстуженную теперь Москву, что, впрочем, и было предопределено прогнозом Темиртауской метеостанции.

Скорость его была уже хороша, даже слишком хороша для нынешнего столь ближнего полета, да и сам Да-

нилов чувствовал себя сейчас опьяненным, он захотел перевести дух. Собственно говоря, в грозе как в подсобном для разгона средстве не было у Данилова никакой необходимости. Он и так мог улететь куда хотел. Но вот привык к купаниям в молниях. Да еще не в шаровых и не в ленточных, а именно в линейных. Да еще с раскатистым громом. Стыдил иногда себя, упрекал в непростительном пижонстве, но вот не мог, да и не хотел отказаться от давней своей слабости. Как, впрочем, и от многих иных слабостей. Но если раньше, в юношескую пору, Данилов сам устраивал грозы и, блаженствуя в их буйствах, ощущал себя неким Бонапартом, командовавшим сражением стихий, то нынешнему Данилову быть причиной жертв и бедствий натура не позволяла. Теперь он поджидал гроз естественных, дарованных ему и людям природой, и не был в них уже Бонапартом, а был кристаллами льда и водяными парами, оставаясь, впрочем, и самим собой.

Отдышавшись, Данилов показал себе рукой направление. И куда показал, туда и полетел. Было у него в Андах место успокоения.

Но в движении он почувствовал некий стеклянный зуд во всем теле, да и слуху его что-то мешало и хотелось чихать. Данилов остановился, выковырнул из ушей серую мерзость, включил пылесосы и очистители, вытряс из себя песок, мелко истолченное в ступе стекло и капитанский трубочный табак. Кто-то нарочно и со зла напихал в тучу стекла и табаку, а Данилов в своих купаниях ничего и не заметил. Неужели это Валентин Сергеевич постарался? Но тогда выходило, что Валентин Сергеевич вхож в атмосферу. «Ну и пусть! — подумал Данилов. Однако он почувствовал, что ему было бы неприятно, если это так. — Неужели и такие теперь вхожи?.. Кто же он есть-то?..» И он полетел дальше.

Лететь он имел право со скоростью мысли. Вот он в Москве, вот он подумал, что ему надо в Верхний Уфалей, и вот сейчас же он в Верхнем Уфалее на базаре. Но так летать Данилову было скучно, и со скоростью мысли он передвигался только по рассеянности и выпивши.

Обычно же он позволял себе от мыслей отставать. Вернее, перебивать мысль главную мыслями и интересами случайными, а порой и бестолковыми, которые, однако, доставляли Данилову удовольствие. Мог он и в единое мгновение увидеть и понять все, что лежало на его дороге, любую людскую судьбу, любое происшествие, любую букашку и любую пылинку, и это, по мнению Данилова, было бы все равно что пробежать эрмитажные залы за полчаса и смешать в себе все краски и лица. Ничто бы он тогда не принял близко к сердцу. Ни один бы нерв в нем не зазвенел. А только бы голова разболелась. Оттого он по дороге все и не рассматривал, а о чем хотел, о том и узнавал. Вот отправится, бывало, в Японию к своей знакомой Химеко на остров Хонсю, а сам вдруг услышит звон каких-то особенных колокольцев, обернется поневоле на звон и сейчас же пронесется в Тирольских горах над овечьим стадом, дотрагиваясь на лету пальцами до колокольцев. И тут же вспомнит, что хотел узнать, бросил ли писать Сименон, как о том сообщили по радио, или не бросил, и вот, не упуская из виду желанную Химеко, он заглянет в лозаннский дом Сименона, благо тот рядом. Потом его привлекут запахи жареной баранины в Равальпинди, стычки демонстрантов на Соборной площади в Сан-Доминго и плач ребенка в пригороде Манилы, ребенку этому Данилов тихонечко подложит конфету и слезу утрет и полетит к Химеко, но и теперь он не сразу окажется возле нее, а приключений через пять.

Сегодня Данилов летел строго по курсу, не спешил, но и не снижался. Все системы работали в нем нормально, ничто не барахлило. Под ним была Европа. Справа впереди мерцал Париж, и окна светились в известных Данилову квартирах, в самом Париже и в пятидесяти лье от него в галантном городе Со. А чуть дальше и слева Данилов разглядел мрачный ларец Эскориала, сколько раз он собирался заглянуть в его залы и подземелья и самшитовым венником вымести наконец оттуда черные мысли Филиппа Второго. Да все никак не выходило. И сегодня

он сказал себе: «Непременно в следующий раз» — однако тут же вспомнил, что следующего раза может и не быть. А под ним уже плескалась атлантическая вода.

Летел он, прижав руки к туловищу, вытянув ноги, но и без особых напряжений мышц. Никаких крыльев у него, естественно, не было. Да и кто нынче осмелился бы их надеть! Мода на них давно прошла, даже тяжелые алюминиевые крылья от реактивных самолетов, из-за которых страдали и плели интриги всего лишь пятнадцать лет назад, никто в эфире уже не носил. А Данилов был не из тех, кто в обществе, хоть и в мороз, мог появиться в валенках. Он был щеголем.

Когда принято было летать с рулем и ветрилами, он летал с рулем и ветрилами, но уж какие это были ветрила! Потом увлеклись крыльями, и Данилов одним из первых пошил себе крылья, глазеть на них являлись многие. Каркасы из дамасской стали Данилов обтянул прорезиненной материей, материю же эту он обложил сверху павлиньими перьями, а снизу обшил черным бархатом и по бархату пустил дорожки из мезенских жемчугов. Крыльев он пошил восемь, два запасных и шесть для полетов, чтобы было как у серафимов. Крылья были замечательные, теперь они валяются где-то в кладовке. Данилов не выбросил их совсем, старые вещи трогают иногда до слез его чувствительную душу. Потом были в моде дизельные двигатели, резиновые груши-клаксоны со скандальными звуками, мотоциклетные очки, ветровые гнутые стекла, выхлопные трубы с анодированными русалками и еще что-то, все не упомнишь. Потом кто-то нацепил на себя алюминиевые плоскости — и начался бум. Что тут творилось! Многие знакомцы Данилова доставали себе удивительные крылья — и от «боингов», и от допотопных «фарманов», по четыре каждый, и даже от не существовавших тогда «конкордов». «Тьфу!» — сказал себе Данилов. Он был щеголем, порой и рискованным, но маклаковскую моду принять не желал. Мода ведь только создается в Париже или там в Москве, а живет-то она в Фатее и Маклакове. А пока дойдет она до Маклакова, через го-

лову десять раз перевернется и сама себя узнавать перестанет, вот с приходом ее и начинают юноши в Маклакове носить расклешенные на метр штаны с бубенцами и лампочками на батарейках возле туфель. Нет, Данилов тогда не суетился, он скромно достал крылья от Ил-18, ими и был доволен. И теперь, когда знакомые его увлеклись космическим снаряжением, Данилов не стал добывать ни скафандров, ни капсул. То ли постарел, то ли надоели ему обновки. И не нужны были ни ему, ни его знакомым ни крылья, ни двигатели, ни скафандры, все ведь это было так, побрякушки! Цветные стеклышки для папуасов! Однако и теперь, может, по старой привычке, а может, ради баловства, Данилов приобрел для полетов кое-какие приборы и технические приспособления. Не захотел отставать от других...

Но давно уж пора было появиться Андам. Они и появились. Данилов увидел свое заветное место и стал снижаться. Место было тихое, в горах, у моря, а здешние жители его отчего-то не любили. Прямо под Даниловым тянулась теперь посадочная полоса километров в пять длиной, а вокруг нее там и тут на пустынном каменистом плато в зеленом мху кустарников виднелись изображения странных животных и птиц. Данилов произвел посадку и пошел к своей пещере. Посадочная полоса была его хороша, не хуже иных бетонированных, камень пока не искрошился. Полосу эту Данилов устроил в пору ложного увлечения алюминиевыми крыльями. И с крыльями-то этими совсем она была не нужна ему для посадки, а вот спижонил, наволок камней, уложил их да сверху еще их и вылизал и раза три — теперь-то об этом стыдно вспоминать — садился на полосу как самолет, с ревом, с ветром, выпуская из-под мышек шасси. А потом он и плато вокруг изрисовал всякими диковинными фигурами и мордами, да еще и оплел их орнаментом дорожек, нравились тогда Данилову индейские примитивы. Вскоре явились на плато ученые и с шумом открыли работы инков. Другие же ученые с ними не согласились и доказали, что полосу с рисунками создали пришель-

цы. Данилов с увлечением читал их исследования, страницы с жадностью перелистывал, до того было интересно. Однако охотников за пришельцами в пух и прах разнес пронизательный профессор Деревенькин, за что был проклят детьми, в числе их и Мишей Муравлевым. Миша вместе с другими юными умами устно объявил этому профессору кислых щей кровную месть, уроки уже не делал, а точил нож. Профессор теперь нервно вздрагивал, на работу ходил в черной маске, но Данилов считал, что дети правы.

Данилов подошел к пещере. Вход в нее был прикрыт, гранитный тесаный камень в сорок тонн весом Данилов сдвинул плечом. В пещере было темно, сыро, пахло пометом летучих мышей. Данилов погнался летучих мышей палкой, смахнул с каменной лежанки пыль и всякую дрянь, застелил лежанку шкурой древесного ягуара, на шкуре и разлегся.

Надо было что-то решать. Необходимость этого решения мучила Данилова. Эх, отложить бы сейчас, думал Данилов, все это на когда-нибудь потом да и забыть обо всем... Но нельзя. Данилов достал лаковый прямоугольник повестки, и багровые знаки тут же проявились на ней, мрачно осветили пещеру, напоминая Данилову о времени «Ч». Данилов убрал повестку в карман жилета, вздохнул и закрыл глаза.

Ему стало жалко себя. И чего они к нему пристали?

Ведь хуже его есть личности — и живут себе, и никто их не трогает...

Понять бы, чем он вызвал назначение времени «Ч»? И кто ему это время назначил?

«А-а-а-а! Что гадать-то! — подумал Данилов с чувством обреченности. — Гадай не гадай, а исход один...»

Он был нервен, печален, купание в молнии и полет, успокоившие немного его, были теперь в далеком далеке. Жалел он свою молодую неисчерпанную жизнь. Но, оплакивая себя, Данилов все же краешком мыслей старался предположить, какой ему припишут состав преступления. Это и само по себе было интересно. Но глав-

ное, зная про этот самый состав, можно было бы предпринять что-нибудь, что-нибудь придумать да как-нибудь и судей и исполнителей, пусть и всесильных, а обвести вокруг пальца...

«Какие же статьи договора они мне припомнят?» — думал Данилов. Между ним и Канцелярией от Порядка был заключен договор. Начальник канцелярии поставил свою подпись желтыми несгораемыми чернилами, Данилов по закону расписался кровью из вертикальной голубой вены. В договоре было сто три статьи, и все без шарниров. Туда-сюда их повернуть считалось невозможным. Главным образом там перечислялись обязанности Данилова, признанного отныне демоном на договоре, но гарантировались и кое-какие его права. Когда вышло решение подписать договор, Данилов, да и многие его знакомые, посчитал это решение либеральным и великодушным, Данилов кувыркался от радости в воздушном океане. Да что там говорить! За своеволия Данилова и шалости его и тогда уже могли покарать крепче, а вот все обошлось договором.

Тут следует сказать, что Данилов был демоном лишь по отцовской линии. По материнской же он происходил из людей. А именно — из окающих людей верхневолжского города Данилова. Отца Данилов не знал. Данилов был грудным ребенком, когда отца его за греховную земную любовь и за определенное своеобразие личных свойств навечно отослали на Юпитер. Там ему положили раздувать газовые бури. Да и мать Данилова тогда же и сгинула. С отцом Данилов в переписке не состоял и никогда не встречался. Они и узнавать друг о друге ни словечка не имели права. Пунктом «б» семнадцатой статьи договора Данилову было установлено пролетать мимо Юпитера, лишь закрыв глаза и заткнув уши ватой. Сам же Данилов мог всю жизнь провести в своем городке, разводить в огороде ярославский репчатый лук, а теперь уж и покоиться смиренным мещанином под тополями и березами на даниловском кладбище — ведь по людским понятиям он родился в конце восемнадцатого столетия.

Однако влиятельные приятели его отца из жалости к невинному младенцу выхлопотали ему иную судьбу и перенесли Данилова прямо в мокрых пеленках из Ярославской земли в небесные ясли. А потом пристроили его в лицей Канцелярии от Познаний. Лицей был с техническим уклоном. И дальше Данилов двигался укатанной дорогой молодого демона, срывая на ходу цветы удовольствий.

Жизнь он вел рассеянную и блестящую. Но между тем положение его было сомнительным, во всех документах он числился незаконнорожденным. Иные ретрограды, не имеющие и понятия о правилах приличия, принимались иногда в присутствии Данилова к атмосфере и шептали раздраженно: «Фу-ты! Человеком пахнет!» Одна беззубая старушка с клюкой, нечесаная и невытая, заявила об этом громко. Потом, в Седьмом Слое Удовольствий, прикинувшись юной красавицей, она, заискивая перед Даниловым, крутилась возле него, надеясь обольстить, но Данилов нарочно поел лука и луком дышал юной старушке в лицо. А один гусь из мелких духов долго шантажировал Данилова, но потом этот гусь был разоблачен как буддийский разведчик и со строгим конвоем отправлен в Обменный Фонд. Ну ладно гусь и старушка! Дело в том, что и серьезные личности подозревали в Данилове человека. Доверия к нему у них не было, а значит, не могло быть у Данилова и особого продвижения.

Впрочем, и сам Данилов давал поводы для подозрений. По окончании лицея Канцелярии от Познаний он должен был бы все знать, все чувствовать, все видеть и все людское в этой связи презирать и ненавидеть. Но это были идеальные требования. А далеко не все лицеисты получали дипломы с отличием. Иным лодырям и тупицам дипломы выдавали махнув рукой, жалко было затрат на их воспитание, да и не хватало кадров. Вот и Данилов считался нелишним, но легкомысленным и бестолковым учеником, какому вершины демонических наук были недоступны.

На самом же деле Данилов был лицеистом способным и сразу же научился все знать, все чувствовать, все видеть в пространстве, и во времени, и в глубинах душ, все — и прошлое, и настоящее, и вечное, и вдоль и поперек, и все это — в единое мгновение! Но от этой возможности ему стало тоскливо, скучно и начались мигрени. Куда правильнее показалось Данилову возможностью этой не пользоваться, а открывать все заново и самому, как то делали люди. С любопытством, дотошностью и учением удивляться любой мелочи. Да и что за тоска была бы жить, зная наперед все!

Вот Данилов и прикинулся простаком с малым количеством чувствительных линий. Да так ловко, что ни один ум, ни один аппарат его не раскусил. Знания же были у него теперь, какие он сам себе добыл, иные из высших сфер, иные на уровне даниловской средней школы. А чтобы никого не раздражать, Данилов с усердием занялся фигурными полетами и музыкой. Его выделяли от лица на соревнования и олимпиады внеземных талантов. Тут он многих превзошел, получал разряды, звания, премии, чуть было не ушел в профессионалы. Еще в лицее на него стали указывать со словами: «Наша гордость». Стало быть, об успехах в учебе Данилову нечего было беспокоиться.

Хуже обстояло у Данилова дело с необходимостью все презирать и ненавидеть. В теории-то он жутко стал все презирать. Как он все ненавидел! Но вот на практике, то ли из-за нехватки общих знаний, то ли по какой иной причине, чувство ненависти к человечеству то и дело вызывало у Данилова колики в желудке и возле желчного пузыря. Однако Данилов не требовал у лекарей справок об освобождении, а хотел преодолеть себя и, выполняя курсовые работы, со рвением стажировался в группах, готовивших землетрясения, стихийные бедствия и ограбления банков. Кое-чему научился, но в животе кололо все сильнее, и к горлу что-то подступало. Да и руководители стажировок Даниловым оставались недовольны. В ограблениях он был еще хорош, а вот из кратеров в окружаю-

щую среду мало выбрасывал пеплу и камней. А преподаватель труда, тот даже пригрозил Данилову отправить его на практику в столовые города Саранска вместе с юными тугоухими демонами портить там салаты и вторые блюда.

Это было унижительно! То есть педагог трудовой подготовки хотел указать Данилову на то, что место его и не среди демонов вовсе, а среди бесовского отродья с привинчивающимися ко лбу рожками и развитыми мохнатыми копчиками, а то и среди каких-нибудь там леших или водяных. Данилова эти слова взволновали, и он стал стараться. Но лучше не выходило! Да и к людям Данилов все отчетливее относился не с ненавистью, а с жалостью и даже с приязнью. Это было опасно! Эдак его могли дисквалифицировать в херувимы! А что уж хуже и позорнее этого! Да и ходить босым Данилов не любил. И тут Данилову повезло. Его направили в Группу Борьбы за Женские Души.

Данилова и раньше тянуло к красивым женщинам, теперь же, укутывая свои симпатии к ним видимыми глазами наставников презрением и ненавистью — иначе не иметь ему стипендии! — Данилов очень быстро приволок на склад учебной базы восемнадцать теплых и страстных женских душ. А ему и еще вослед с мольбой и надеждой протягивали руки десятки земных красавиц! Даже демоны из золотой молодежи, но в учебе прилежные, разве что списывавшие у Данилова гороскопы, ему завидовали. «Как это ты их?» — спрашивали. «Да уж чего проще, — говорил Данилов небрежно, — сны-то им золотые навевать!» — «На шелковые ресницы, что ли?» — «Ну, если желаете, то и на шелковые...»

Данилов окончил лицей, и на него пришла заявка из Канцелярии от Улавливания Душ, из Управления Женских Грез. Однако его забрали во внутреннюю Канцелярию от Наслаждений и поручили устраивать фейерверки и аттракционы на ведомственных балах в Седьмом Слое Удовольствий. Должность выпала незначительная, но и она для Данилова была хороша. Он работал, играл

на лютне и в ус не дул. Времени свободного имел много, вел вполне светский образ жизни, влиятельные дамы ласково глядели на Данилова, и были моменты, в какие Данилов считал себя положительно баловнем судьбы. И вдруг — раз! Жизнь его круто изменилась.

И порядок-то остался старый, но из недр его нечто изверглось. И помели новые метлы по всем сусекам, по всем канцеляриям, по всем Девяти Слоям (так Данилов называл теперь тот мир). Пересматривали бумаги и личные дела, наткнулись и на зелененькую папку Данилова. «Ба! Ба! Ба!» — раздалось в комиссии, и давние подозрения всколыхнулись, потекли в атмосферу, уплотнились там, осели на телячью кожу и толстым томом легли на стол комиссии. Делали Данилову и анализы. Вспомнили еще, что отец Данилова был вольтерьянец. И вышло решение, среди многих прочих: Данилова, как неполноценного демона, отправить на вечное поселение на Землю, в люди.

Данилову земной возраст определили в семь лет, и по людскому календарю в тысяча девятьсот сорок третьем году он был опущен в Москву в детский дом. Там очень скоро один из воспитателей обнаружил у Данилова недурной слух, и способного мальчика, худенького и робкого, взяли в музыкальную школу-интернат. Потом была консерватория, потом — оркестр на радио, потом — театр. Оттого что за Даниловым вины никакой не было, а вся вина была на его отце, многие привилегии и возможности демона Данилову сохранили. Вот только летать в Девять Слоев Данилов имел право лишь изредка и ненадолго. Да и то с особого разрешения. Данилова в Девяти Слоях еще узнавали, шепотом просили рассказать земные анекдоты, но для многих он был уже пришельцем из потустороннего мира, демоном с того света. У них во всех бумагах и разговорах Земля так и называлась — Тот Свет, а иногда и — Тот Еще Свет. Данилов теперь и был в ведении Канцелярии от Того Света.

Поначалу от него многого не требовали, но уж когда Данилов был в консерватории и потом на радио, к нему